

Монах в новых штанах

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.

Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, помельче — швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.

Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить — битубабку либо деньгу, — я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка возиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать

всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

— Ага! — сказал я. — То-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.

Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не всем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!

— Крути, верти, наворачивай! — подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.

Судили девицу одну,

Она дитя была года-ами-и-и-и...

Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.

Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка — Нюра, удалая песельница, я наострил ухо, по-бабушкиному — наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшык. Ну, терпела, терпела девица изменшыство, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».

Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!

Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:

— Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.

— Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку.

У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

— Крути, верти, навертывай!

*Судили девицу одну,
Она дитя была года-а-ами-и-и-и...*

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает споро!» Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляницей вон надул — чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит. Не

возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойдешь, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому задку — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется.

Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!

Шан-тра-па-а, шан-тра-апа-а-а-а...

Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек — бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет — такой она человек!

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..

Сошьют штаны с карманом в Первый май!..

Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то — вон они! Упряг-то я одолел! Два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковь — все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у...

— Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?

Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!

— Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить —

картошку, морковку, свеклу, — все могу!

— Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!

— Пускай заносит!

— Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!

— Запьянел! — подтверждаю я. — В дрезину... Судили девицу одну-у...

— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. — Напасись вот на тебя мыла! — И подтолкнула в спину: — Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..

— Еще только обед?

— Тебе небось показалось, неделю тут робил?

— Ага!

Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

— Вот ведь мошенник! — слышится внизу, в подвале. — Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету... — Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.

Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чирикание воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побагревает, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вежи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит

Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май...

Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!

Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом — под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со «шматьем». Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!

Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям — кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро — две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» — нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбургского» происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута — спасайся кто может, и спасай что можешь.

Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегают по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается — стало быть, не запямятуй, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас...

В «надежные руки», частенько в бабушкины, волоклось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении,

шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись...» — «Да што ты, што ты? У меня перебивало... Место не пролежит...» — «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»

Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.

Парнишка явится из разведки — голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат...» — «И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублей за нее, и вот... Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос — за рекой слышать. Вот и запели, завеселились... — И вдруг с ходу, круто на «разведчика»: — В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что — «тятюку не тронь!». Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюш-ки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз — не утонул, горел он в лесном пожаре — не сгорел, блудил в тайге — не заблудился... Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было... Сиротами бы росли да зато на спокойное, голодно, да не холодно...»

Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.

«Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменная....» — успокаивает горемычных постояльцев бабушка.

«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посередь избы...»

И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те... Прости нас, бабушка Катерина, надоедам...» — «Да чЕ там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!..»

И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.

— Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пускает, сдохни,

говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей...

— Об чем?

— Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.

— Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятежник!..

— Ну, дурак, дак чЕ? Пьяный дурак.

— И спросу с пьяного нету?

— Да какой спрос?

— А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!

— О-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..

Бабушка «ходит в сундук» — торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное — бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.

С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.

Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала — чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий — припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение — по миру идти.

Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял, сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала... Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

— Што мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться невымытой и запачкает треко. — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знат — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. — Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Ма-ахоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китайки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.

Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличах прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.

У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:

— На уж, окаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже expectantly опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.

— Не-е-е...

— А чего же тебе? Ремня?

— Штаны-ы-ы...

Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:

— Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?

— Сама ешь!

— Сама? — Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. — Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу — сама!

Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:

— Э-э-э-э...

— Поори у меня, поори! — взрывалась бабушка, но я перекры- вал ее своим рЕвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. — Сошью, скоро сошьюУж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а- аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...

Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять — уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни

бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, — очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

— Покор... покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

— Помрет вот бабушка, чЕ делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...

И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

— ЧЕ же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекавшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семя была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее

рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась — это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.

— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила...

— Сошьешь еще, куда спешить-то?

— Да уж дай только Бог подняться...

И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

— О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, — ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее

на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные и есть ссыльные — варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.

Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:

— Комиссару без штанов никак нельзя, — перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. — Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить — и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..

В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:

— Н-не-е-е!

— Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.

— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.

Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи — все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне позагровку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек — это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась — вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.

— Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.

Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница...

Я хмуро потупился.

Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

— Ешь и ступай к дедушке на заимку.

— Один, баба?

— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!

— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал голову.

— Ладно уж, ладно, — легонько отстранила меня бабушка. — Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любит и на какую недостижимую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке — помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы

слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Ману — промыслять маралов — панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречу семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.

— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде. Да и путь не близок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены внешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не

отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу — камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смирно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.

У меня сбилось дыхание — громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.

И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могучней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам наш конь — Ястреб — на исходе горы, вверху встречал в песню, пускал по горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о», но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седины вы приятные — не хлещете меня, песни поете.

Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на камнях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!» Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.

Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.

Дорога здесь покрыта травой — гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в

дудку, жарки тут, на солнцепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, губельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.

Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.

Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел? Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка...

А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?». Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения — пашня, земля, на нашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!

Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и сокол, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым сукон и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями — не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась.

Дерево — это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трекает: то жук какой, то птичка, то ящерка, а выше — и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу.

Есть тут шипица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опухшими корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.

Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится — жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубками, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.

«Ой, сажа! Ну и растяпа!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге.

Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.

От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я надал шаг, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пеня и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистный, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник — любимое его тут место — сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами — белый, целым веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив

ромашки, всегда нарывает «мигунка» на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремья поместились, и вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка. особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада.

Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали камень. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи — змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и часто.

Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно — бык отвесен и высок, Енисей напорист — у него не забалуешься.

Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорожкой. А пока я смотрю и смотрю па реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение — отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теревит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.

Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекой. На стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше — порядок начинается: упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху — остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недостижимо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах Мана-река — кормилица-поилица: пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы.

Много порогов, росох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты. Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубая леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.

Упорные люди работали на этой земле!

Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно. Она — дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри — меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стоек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.

За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни деревьев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.

Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мною ухнули в Манскую речку.

Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, на меня напала резвость — я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился.

— Сапоги-то!

Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как

мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.

«Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!»

Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.

Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше — смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.

Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.

Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал;

— Деда!

Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью.

Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стежке — тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька! Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:

— Монах в новых штанах! — Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке — сам-то сроду не нашивал новых штанов, а

сапоги да еще с новыми союзками — и во сне ему не снились.

Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчЕну — мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек — Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.

— Плавал на шаньгах-то? — любопытствовал Санька.

Дед ничего не спрашивал.

— Плавал! — отшил я Саньку.

После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол.

— Хы! Как ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:

— Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое, нам непонятное. Вот.

Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:

— Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.

Мы вышли во двор, и я спросил:

— ЧЕ это дед сегодня такой разговорчивый?

— Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. — Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: — ЧЕ будем делать, монах в новых штанах?

— Додразнишься — уйду.

— Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.

Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не

трековые, а суконные — так и бросит.

Эти слова окончательно убедили меня — заело Саньку. Но что дальше последует — не догадывался, потому что простофилей был и остался.

За полосой густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног — это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.

— А тебе слабо!

— Мне-е? Слабо-о? — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»

— Цветочки только рвать! — зудил Санька.

«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как...»

Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось — пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляют. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые — шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать — этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.

И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.

В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял — снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-

другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне — дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:

— Гад!

Сказал и перестал бороться.

Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:

— Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!

Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я — Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.

— Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!

— Нет!

— Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.

Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.

— Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! — закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.

Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной, на меже шевельнулись листья белены — Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?

Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья нехватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жуёт чего-нибудь— живоглот пузатый!

— Так и будем сидеть?

— Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.

— Но ты, падина! — крикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только!

Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясёт от холода, качает от усталости.

— Безголовая кляча! — лез в грязь и ругался Санька. — Сколько я его надувал, он все одно надувается! — Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны — не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: — Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаюсь.

Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаюсь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю — опущусь и запросто могу захлебнуться.

— Эй, ты, чЕ молчишь?

Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.

— Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь счас.

Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как

быть.

— Иди за дедушкой, гад!

Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.

— Миленький, не падай! — сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. — Не па-а-да-а-ай, миленький... Не па-а-ада-ай!..

Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!»

От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка — журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.

А может, отдохнуть сели? Тогда пропащее дело.

Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось — это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые!

Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего — на поле за бочажиной, узнал я бабушку.

— Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! — заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.

— Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абонька-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!

— Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуюло мое сердце! Как тебя, аспида, занесло туда? — услышал я над собой крик бабушки. — Ой, не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!

И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левонтьевской Танькой:

— Уш не лешаки ли тебя туда заташшыли?!

Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С

трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.

— Обутки-то! Сапоги-то! — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырьках и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:

— Не-ет, сердце мое не омманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул ребенок?

— Не загинул жа...

Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой:

— Ох, каторжанец Шанька! Я тятке вшо-о рашшкажу, — и грозила пальцем вдаль: — Тятка, шур-шур-шур! — Разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.

Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.

Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завывать, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чувят, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.

Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное — пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только кряхтел да пуще дымил сигаркою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.

Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» — вздыхал я — мне жалко Саньку сделалось.

— Опять рематизня донимат? — поднялась на приступок печки бабушка, заслышав мое кряхтенье.

— Жарко тут.

— Жар кости не ломит. Ложилось дураку — по три чирья на боку. Терпи. А то обезножеешь — а сама к окну, Приложила руку, выглядывает. — И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Оне на меня союзом!.. Сам-от веху разбойнику дает, от меня спасат.

Тут — беда к беде — дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.

Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало — это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой.

Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.

— Он так и заимку спалит, не моргнет! — шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село — дел у нее там много накопилось.

Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота — что без нее в селе, как без командира на войне — разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.

От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и

чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.

Лето! Совсем уж полное лето пришло!

У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.

— Откусить серы?

— Откуси.

Санька откусил шматок листовенничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.

— Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. — Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.

— Болят ноги-то?

— Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.

— Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет.

— Возьмешь меня?

— Так и отпустила тебя Катерина Петровна!

— Ее ж нету!

— Припрется!

— Я отпрошусь.

— Ну, если отпросишься... — Санька обернулся ко двору, ровно бы принялся, затем подлез к моему уху:

— Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. — Он показал горсть табаку, бумаги клочок и обломок от спичечного коробка. — Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь спаси! Христос спаси!» Умора!

— Ох, Санька, Санька! — совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. — Не сносить тебе удалой головы!..

— Ништя-аак! — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.

Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа — Терентия, когда тот из плавания придет.

Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.

— Куда ты? — погрозил пальцем Санька. — Нельзя! Бабушка Катерина не велела!

Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.

— Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! ХрабЕр! — бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. — Потом опять издыхать примешься...

— Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, — помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть — все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.

— Н-н-но-о, ты, попляши у меня! — прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...

Старенький, старенький Ястреб! Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам...

Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться — Лидии-купальницы наступят. Может, и мне позволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.

Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.

Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.

Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.

— Н-не балуй! — громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.

На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.

На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, — остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.

Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом — страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.